



ПОЭЗИЯ

*Судилин
Нираев*

И не в истине цель, и не в истовой трезвости сила

* * *

Чахла Звезда, и закаты стекали пригорками
в жадную топь уходивших в ремарки времён.
Сколько возвышено споров ночами прогорклыми,
как упивался заморской гитарой миньон!

Хлопали съезды, и туфли сверхпланово хлюпали,
и уезжали любимые, души заклав.
Как ни мудри, а себе не казались мы глупыми,
в сумрак сторожки ныряя, как в личный анклав.

Но назревали бои. И, наверно уж, мудрыми
стали б мечи наши, знай мы среди прочих вещей,
как отлучённо придётся рыдать на заутрене,
где на амвоне, под рясой – всё тот же Кощей.

* * *

Пригласи меня на восход луны
в сад камней, кареоякая Йоко –
где, сложив ладони, застыли сны,
и в пруду шелестит осока.

Мне не нужно длинных изящных фраз
и поклонов учтивых не надо –
лишь бы в сердце мудрой струёй лилась
тихострунных веков прохлада.

И чтоб в миг, когда долгожданный приз
понесёт себя над облаками,
наши души в звёздных мирах сплелись
в серебристое оригами.

* * *

Ты уезжала на вокзал,
и, ширясь красными огнями,
внезапный вечер увязал
в сугробах, выросших меж нами.
А дома алчущим котом
меня ждала моя тетрадка
и приоткрывшийся бутон
софы, ещё стонавшей сладко.

Но зналось мне, что не облечь
в линейность подзаконной речи
кривые судьбоносных встреч,
надежд и правды человеческой.
И чуял я: как ни сложись
единоборство с синей птицей,
но обнулившаяся жизнь
в нору фантазий не вместится.

Гнал сумрак полчища свои,
но кто-то там, над лунной баркой,
слагал балладу о любви –
о той, что вопреки и ярко.
И нас в соавторы зовя,
в разгар хмельной январской стужи
у рук моих он крал тебя,
чтоб обручить разлукой – души.

Шлюха

Она шлюхой была, и к стихам её слух не привык.
Стала горем она, всех детей схоронившая разом.
Где злорадство твоё, настагающий плетью язык,
что лопочешь, краснея, миры постигающий разум!

Но огромнее самых немислимых тайн бытия –
почему, глядя ввысь, на последнем, казалось, дыхании,
чтоб минула других невозможная чаша сия,
умоляла она побежавшими лавой... стихами.

И когда я губами к челу сиротины прирос,
за бессилье своё извиняясь слезой забулдыги,
загорелась в снегу её некогда рыжих волос
мне спасительной ересью ум опалившая книга.

Словно в душном хмелю, я запретные главы читал,
и мелькали зонты, и глядели прохожие косо.
И хрипела душа, прозревая начало начал,
и ответами сами собой становились вопросы.

Не с того ль так угрюмо мятежны людские грехи,
и не то ли усобице духа и плоти причиной,
что безумству меча и спящему поту сохи,
оглушив свободу, нас небеса поручили?

Чтоб, свой жребий признав анфиладой обид и потерь
и не выискав правды кричащими в ночи глазами,
властелину судеб с безыскусностью малых детей
мы реальность его в покаянных стихах доказали,

дабы он, отряхнувший морщины сомнений с лица,
мог, с твореньем своим уговор соблюдая священный,
разодрав на куски монастырскую робу отца,
наконец утолить материнскую жажду прощенья.

– Ветхий плод не кляни и от бурь в стороне не держись,
а беги дальтонизма и сытости, – книга гласила, –
помни также о том, что по карте не вышагать жизнь,
и не в истине цель, и не в истовой трезвости сила;

что подъём в небеса – это, в сущности, сальто с небес
в этот мир, кровоточащий злом и любовью,
где лишь светлостью слёз проверяется сердце на вес
и великий святой равноправен с блудницей любою.

Гильгамеш

Уже остыл сражённый роком друг,
ещё грозит богам твой дерзкий меч.
Но за спиной стобашенный Урук –
и всех от смерти надо уберечь!

И ты идёшь по скалам и пескам
на край земли, где ветер да прибой,
и, корень вечной жизни отыскав,
домой летишь поющею стрелой.

Но волей властных и ревнивых сил
похищен твой спасительный трофей.
Глупец, ты сам от плода не вкусил,
заложник благодетели своей.

И вот теперь – не разорвать вовек
на род людской выброшенную сеть.
И хоть ты царь, но всё же человек,
а значит, тоже должен умереть.

И ты стоишь не плача, не смеясь,
не зная, что богов пожрёт шеол;
не ведая, что за других борясь,
уже своё бессмертие обрёл.

Старый компьютер

Неотразим, силён и смел,
избрав новаторство девизом,
ты на столе царём воссел,
затмив отстойный телевизор.

С тобой шептались по ночам,
наутро кофе подносили,
покуда в дверь не постучал
многопроцессорный верзила.

И ныне ты ржавеешь здесь,
на этой свалке у болота,
забыв и почести, и спесь,
и мне тоскливо отчего-то.

Хоть, вроде, ты и не живой,
но так блестит твоя глазница,
как будто тщетною мольбой
о сострадании слезится.

* * *

Испив восторг и страсть мою до дна
и закусив изящно сигаретой,
она любила тонкой и раздетой
мечтать у приоткрытого окна.

Её я не тревожил болтовнёй,
и крылась в том негласном уговоре
признательность, огромная, как море,
с какою-то неясною виной.

Я уходил, шагая неспеша.
И долго за спиной моей белело
в безмолвии окна родное тело,
но не со мной была её душа.

* * *

Не жалею ни себя, ни почивших богов, ни друзей,
что, уйдя в облака, приложились к лазури бездонной –
видишь, как, не скорбя о развеянной славе своей,
догорают века, и струится песок из ладоней.

Если б только понять змееглазых ночей алфавит,
если б только разок заглянуть за тяжёлые двери!
Но тугая печать заповедные тайны хранит,
и горчит ручеек истощённой потерями веры.

Так сплети в это утро венки из несбыточных грёз
и пусти его радостно плыть в тридевятое море,
где звездой перламутра пришит к высоте альбатрос
и весёлые радуги ходят в беспечном дозоре.

Выставка

От бреда больничного неотличима ничуть,
шипит, обжигая сознание, жирная клякса:
не то для прикола решили на холст блевануть,
не то с перепоею акрил перепутали с ваксой.

Но столько вокруг оглушительно умной возни
и так элитарно за вход установлена такса,
что прыгает сердце: вот здорово как, чёрт возьми –
я видел своими глазами Великую Кляксу!

* * *

Я не искал причин, не исправлял ошибки
и не считал столбов, бежавших вдоль дорог.
Но нежный клавесин и яростную скрипку,
как первую любовь, в душе своей берёг.

И пели мне они о юности и лете,
и были мне судьбой в наставники даны
закатные огни и васильковый ветер,
стенающий прибой и ангельские сны.

И пусть не дольше я, чем руны на асфальте,
и лягу в стылый прах рубиновым листом;
расскажет жизнь моя, как музыка Вивальди,
всю правду о мирах – об этом и о том.

* * *

А липы, знай себе, цвели,
и юность дружбой богатела,
палитру неба и земли
в себя вбирая до предела.

Ходил точильщик по дворам,
свой клич азаном выпевая,
и, дребезжа, сквозь птичий гам
неслись футбольные трамваи.

Звучали арфы, как в раю,
и на лугах Большого зала
любовь ты первую мою
в пуантах резвых танцевала.

Спеша судьбу поднять на щит,
считали мы, что мир – арена;
а время, пусть его, бежит –
кого пугают перемены!...

Трамваи пущены на слом –
без них бульвары точно вдовы;
друзей ветрами разнесло,
и нет точильщика седого.

И в жизни свой избрав маршрут,
осталась ты письмом из мая.
А липы, знай себе, цветут,
метелей памяти не зная.

Тетерев

Каркнул ворон «Невермор!»
Э. А. По

Как-то ночью ненастной, среди садов проснувшись частных,
одуревший и несчастный, в чью-то дверь я постучал.
Думал: сносная берложка; может, похмелюсь немножко.
Поплевал и влез в окошко – ведь никто не отвечал!
Но в потёмках белый кто-то вдруг предстал моим очам.
«Кто ты?» – мне он прокричал.

12

Ба – хозяин! Ну и птица! Да таких и вошь стыдится!
Это ж надо так напиться – глючит карканьем его.
Сам дрожит, как трясогузка, и бурчит, как чёрт нерусский;
ни пол-литры, ни закуски не дождёшься от него.
Рыбой всё кругом изгадил, клювом по столу – того.
Дятел – больше ничего!

А когда, продрав глазёнки, сел на жёрдочке в сторонке, –
про какую-то бабёнку до утра мне уши тёр:
мол, была, и бац! – пропала; то ли с мостика упала,
то ли с бесом ускакала. Наконец спросил в упор:
«Вещий Дух, верну ль потерю?»...Надоел мне этот вздор:
«Нет, Тетеря, неверморrrrrr!!!»

* * *

– И ты ещё внушить себе хотело,
что я – простой химический процесс! –
подумало-поплавало над телом,
уже свыкаясь с близостью небес.

